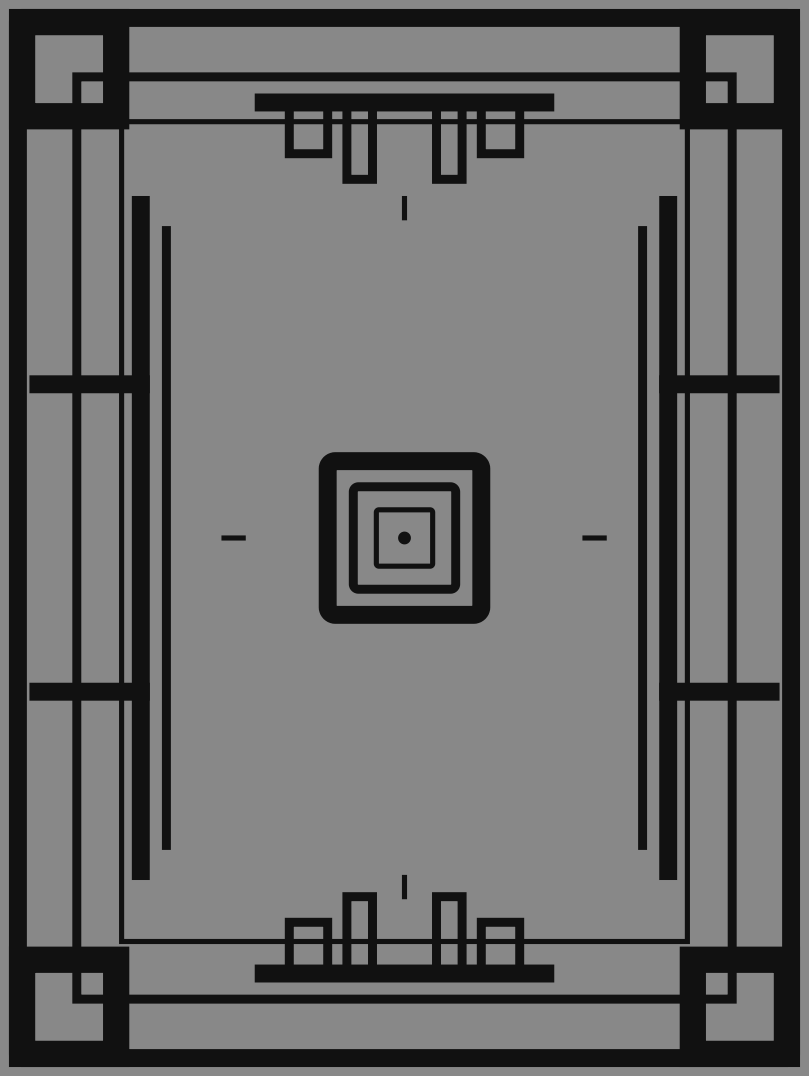

Интервью

Венедикт Васильевич Ерофеев

Ерофеев Венедикт. Интервью
От Москвы до самых Петушков
"Умру, но никогда не пойму..."
"Умру, но никогда не пойму этих скотов"

Ерофеев Венедикт
Интервью

От Москвы до самых Петушков

"Литературная газета". 1990. No 1, 3 января. С. 5

С писателем Венедиктом Ерофеевым беседует корреспондент "ЛГ" Ирина Тосунян

Собираясь на встречу с Венедиктом Ерофеевым, я уже знала, что писатель серьезно болен, говорить ему трудно и неизвестно, получится ли разговор вообще. Поэтому решила на всякий случай написать письмо, представить вопросы, так сказать, в письменном виде.

В 1978 году я прочитала его повесть "Москва — Петушки", изданную там и бродившую по рукам здесь, и очень захотела что-нибудь узнать об авторе. Но даже среди моих коллег мало кто знал что-то о Ерофееве наверняка. Так, реяли по столице слухи...

Время шло, повесть "Москва — Петушки" переводили и издавали то на одном языке, то на другом за рубежами нашей Родины, популярность Венедикта Ерофеева там оставалась стабильной. О его творчестве — в основном это были те же "Петушки" — создавались статьи и диссертации. Исследователи сходились на том, что Ерофеев —

"образованный, тонко чувствующий, одаренный в языковом отношении писатель"... И добавляли: "судьба его неизвестна"...

Неуловимый Ерофеев "выплыл" два года назад Во время одной из встреч с Кавериным Вениамин Александрович рассказал мне об идее создания альманаха "Весть", одним из организаторов которого он был. В первом выпуске альманаха планировалась среди прочих вещей, не публиковавшихся ранее в нашей стране, и повесть "Москва — Петушки". Тогда это еще казалось невероятным: какая-то инициативная группа, альманах, да еще "Петушки2, о которых одни говорят: "гениально", "бессмертно", другие — "безобразие"... Между тем летом 1989 года "Весть"-таки увидели свет, повесть Ерофеева прочитали сотни тысяч советских читателей. Опубликовал ее с небольшими сокращениями и журнал "Трезвость и культура".

И вот я в гостях у писателя. Оказывается, все последние годы он живет в Москве. Вопросы, написанные мною, не понадобились, но беседы (их было несколько) проходили неровно, трудно. В доме то и дело толклись люди. Ерофеев вдруг оказался нужен сразу и газетчикам, и телевизионщикам, и издателям своим и зарубежным.

Дверь практически не закрывалась. Сам Ерофеев страдальчески улыбался и шептал: "Скажите, пожалуйста, зачем это нужно?.." Я, уже исписавшая пухлый блокнот, умиротворенно поддакнула: "Закройте просто дверь и всем отказывайте!" На меня глянули голубые кристальные детские глаза: "Но ведь тогда и вам нужно было бы отказать..."

Самое горячее желание, которое есть сейчас у Ерофеева, — это "перестать быть столь урбанизированным", уехать с женой в Абрамцево, где друзья им предоставили до весны дом, и жить и писать... Начаты и ждут своего завершения две пьесы — "Фанни Каплан" и "диссиденты". Есть "куча идей, рассыпанных в тридцати с лишним записных книжках".

— Черновиками у меня забит стол, — говорит писатель, — вернее их даже черновиками назвать нельзя, это еще что получится! "Фанни Каплан" почти готова и будет опубликована в журнале "Континент". Вторую — "Диссиденты" — собирается принять к постановке Театр на Малой Бронной. Это чистая комедия — и в прямом, и в переносном смысле. Действие происходит в 60-е годы в приемном пункте "бронебойной" посуды (нет лепажевых орудий, есть бутылки).

Никто из героев не остается в живых, ни один, только подонки. Мне уже звонили, упрекали: мол, слушай, Ерофеев, зачем с таким материалом обращаться таким юмористическим образом? Или в "Вальпургиевой ночи" всех убил, хотя бы здесь оставь несколько хороших людей в живых… А разве я убил?..

Пьеса "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" опубликована в апрельском номере журнала "Театр" за 1989 год, уже поставлена на сцене Театра на Малой Бронной и имеет немалый кассовый успех. Хотя сам автор считает, что "упростили ее до предела". Но, как известно, на авторов не угодишь. Пьеса непроста для восприятия (впрочем, то же можно сказать о повести "Москва — Петушки", эссе "Василий Розанов глазами эксцентрика") и непривычна по выбору места действия сумасшедший дом. Ерофеев утверждает, что создавал драматургические произведения по принципам классицизма, только очень смешное. Не знаю, кто как воспринял ее, а меня буквально озноб бил, когда читала. Да и заключительные фразы не оставляют надежды: "Занавес уже закрыт, и можно, в сущности, расходиться. Но там, по ту сторону занавеса, продолжается все то же и без милосердия. Никаких аплодисментов".

Сейчас многие говорят, что они ничего не знали — в тридцатые, сороковые, пятидесятые, семидесятые… — ничего не знали. От тех проблем кто-то был далек, а кто-то использовал множество лазеек, чтобы отгонять от себя дискомфортные мысли. Кто же не был слеп? Старшее поколение? Те, кто прошел лагеря?.. Как традиционно привыкли считать — слепа была провинция. И в этой ситуации, когда многие не знали, а многие, считалось, "не знали", кажется страшным, что юноша, вышедший из глухой глубинки (ну, если можно Заполярье считать глубинкой), оказался абсолютно зрячим. Он не мечтал о "светлой жизни", он требовал жизни нормальной, утверждая, что так жить, как сейчас, нельзя больше ни часа, ни минуты… Он и сейчас это утверждает.

Его критицизм настолько всеохватен, что у неопытного, неподготовленного читателя может вызвать шок и крики о клевете. Когда критикуешь все, даже будущие полумеры, тебя обязательно обвинят в клевете, потому что становится страшно, потому что такая критика ошарашивает и даже на какое-то время деморализует. Появляется обида на писателя: мол, указав на теневые стороны моей жизни, не указывает, каким способом нужно ее исправить.

Как же, он, Ерофеев, оказался в стане зрячих?

— Этого я сам не понимаю. И потом, не так рано я прозрел, только в десятом классе. А еще более — после поступления в Московский государственный университет.

— В 1988 году в Лондоне был переиздан Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. Это, пожалуй, единственный справочник, где рассказывается о вас. Но, несмотря на то, что автор, Вольфганг Казак, утверждает: это "перевод переработанного и расширенного немецкого издания 1976 года", сведения о писателе Венедикте Ерофееве, начиная уже с года рождения, приблизительные и во многом неправильные. Автор словаря пишет, что о Ерофееве "почти невозможно получить биографические сведения". Так давайте поможем следующему изданию литературного словаря. Процитирую несколько фраз из него. Ерофеев, "очевидно некоторое время учился на историческом факультете Московского университета и во Владимирском педагогическом институте, по слухам, знает латынь, любит музыку. По имеющимся сведениям, он рано стал алкоголиком…"

— Ну что же! Родился 24 октября 1938 года. До окончания школы жил в городе Кировске Мур-

манской области. Папеньку сажали (у них это было принято — сажать) дважды, посадили — выпустили, снова посадили. Но важно, что в 1954 году отца освободили совсем. Мне он порассказал такое, что вам и не снилось. Знаете, что значит быть начальником железнодорожной станции, которую занимают то русские, то финны, то немцы, потом опять русские, финны, немцы… и при этом ухитряться исполнять свои обязанности? А я-то дурак, как видел в небе финские или немецкие самолеты — махал платочком и приплясывал. Мне было ровно три с половиной года. В конце концов отца объявили предателем Родины. Сейчас, наверное, это трудно понять…

Про МГУ я уже говорил, только добавлю, что учился по специальности "русский язык и литература". Но скоро меня "раскусили"…

Учился и во Владимирском пединституте, на том же факультете, так же отлично и недолго. Тихонечко держал у себя в тумбочке библию. Для меня эта книга есть то, без чего невозможно жить. Я из нее вытянул все, что можно вытянуть человеческой душе, и не жалею об этом. А тех, кто с ней не знаком, считаю чрезвычайно несчастным и обделенным. Библию я знаю наизусть и могу этим похвалиться.

Спустя какое-то время книгу в моей тумбочке обнаружили, и началось такое!.. Я помню громадное всеобщее собрание института, ужас преподавателей и студентов. Мне этот ужас был непонятен…

А на улице ко мне подъехал черный лимузин, возвели меня на четвертый или пятый этаж какого-то здания и сказали: "Даем двое суток на то, чтобы вы, Ерофеев, убрались из нашей области".

Нужно сказать, что я тогда возглавлял группу ребят, которых почему-то назвали "попами". Так вот, с институтскими комсомольцами мы шли стенка на стенку, случалось доходило до рукоприкладства.

Из Владимира меня вывезли на мотоцикле, предупредив: "Берегитесь, Ерофеев, у всех, с кем вы знакомы, будут неприятности".

Что же до латыни, музыки и алкоголизма… С латынью ладил всегда. Я знаю ее дурно, но я в нее влюблен. Если бы меня спросили, в какой язык я влюблен, то выбрал бы латынь. Смею уверить, что этот ваш автор словаря ничего не понимает ни в музыке, ни в алкоголизме. В его стройную систему не укладывается, что можно одновременно и понимать толк в выпивке, и любить сложную музыку, и интересоваться делами в Намибии.

Соединять это ему и не снилось.

Авторы статей обо мне упускают самое главное: я считаю, что люди вообще не должны быть "зачехленными".

— Вы сейчас щедро даете журналистам интервью. Многие ваши суждения, даже для нынешнего времени, непривычные, многие — сродни "Петушкам". И уже кое-что говорит: это максимализм.

— До какой-то степени. Если живешь в такое максималистское время, отчего

бы и не говорить максималистски? Но когда бы ни жил, надо во что бы то ни стало быть честным человеком.

— Однако любой писатель может считать свое время, в которое жил и живет, именно таким, экстремальным...

— Правильно, тому же Блоку казалось, что его время экстремальное, последнее. Все времена экстремальные, последние, и, однако, ничего не кончается. И поэтому главное — не надо дешевить. Говорят, к Блоку под конец его жизни хотели вселить красногвардейцев. По этому поводу Зинаида Гиппиус съязвила: жаль, если не вселят, ему бы следовало целых двенадцать. Я ее очень люблю, Зинаиду Гиппиус, и как поэта,

и особенно как личность. Если бы я заполнял анкету "Кто из русских писательниц вам по душе?", долго рыскал бы в своей неумной голове и назвал бы ее.

— А из писателей-мужчин?

— Василий Розанов. Наконец-то его начали понимать и принимать. Я ведь о нем сказал еще тогда, когда даже упоминать это имя было нельзя.

Большое влияние оказал Гоголь. Если бы не было Николай Васильевича — и меня бы как писателя тоже не было. В этом не стыдно признаться. Немножко Мопассан, очень люблю его вещь "На воде". Но совсем не люблю Золя, не терплю бездушия, а в нем я это сразу определил. В XX веке — Кафка, которому я многим обязан, Фолкнер ("Особняк"). Очень люблю Набокова. Никогда зависти не знал, а тут завидую, завидую… А из современников ощущаю духовную близость с могучим белорусом Василем Быковым.

— Но давайте вернемся к словарю. "В студенческие годы, — я продолжаю цитировать, — Ерофеев начал писать художественную прозу, ни разу на смог что-либо напечатать в СССР". В статье есть и такие обороты: "…несколько его произведений считаются утерянными". Или "…рассказывают

о других произведениях Ерофеева, например, о романе под названием "Шостакович", но тексты их не встречаются".

— Когда меня выгоняли из МГУ, я уже писал — чисто юношеские "Заметки психопата". Однокурсники, те, кто читал, говорили, что это невозможно, что так писать нельзя. "Ты, Ерофеев, хочешь прославиться на весь институт?" А я в ответ: "У меня намерения намного крупнее!" А рукописи мои действительно пропали. "Шостаковича потерял я в электричке, вернее, украли сетку, где были, кроме него, две бутылки вермута. Роман опять же об алкоголиках.

— Желания восстановить книгу не возникало?

— Было, пробовал. Но получилось то, что, образно говоря, получилось из громадной российской империи к лету 1918 года — крохотная Нечерноземная зона. И я тихонько задвинул "попытку" в отсек своего стола.

— Вам снятся ваши тексты?

— Еще как снятся! Как вы угадали? Практически еженощно снятся, я не преувеличиваю.

— А вещи свои перечитываете?

— Иногда перечитываю. Но из написанного больше всего мне нравится "Москва — Петушки". Читаю и смеюсь, как дитя. Сегодня, пожалуй, так

написать не смог бы. Тогда на меня нахлынуло. Я писал эту повесть пять недель.

— Пьеса "Вальпургиева ночь" тоже об алкоголиках и тоже написана в очень короткий срок. Снова нахлынуло?

— Это было так. Ко мне как-то приехали знакомые с бутылью спирта. Главным образом для того, чтобы опознать: что это за спирт? Говорят: "Давай-ка Ерофеев, разберись". После "Петушков" я слыву большим специалистом. А метиловый спирт и обычный, должен сказать, на вкус почти одинаковы. Ну, думаю, ценят, собаки, свою жизнь в отличие от моей. Чутьем, очень задним, я понял, что спирт хороший. Выпил рюмку — они смотрят, как я буду окочуриваться. Говорю: налейте-ка вторую. И ее опрокинул. Всматриваются в меня внимательно и хотя трясутся от нетерпения — ни-ни, не прикасаются. Вот такой дурацкий рационализм. С той поры он стал мне ненавистен.

А как-то ночью, когда моя бессонница меня томила, я подумал об этом, и возникла идея пьесы. Реализовал ее в один месяц. Теперь уже и в театре идет. Только зачем им нужно было еврейскую тему убирать, не знаю. А вот несколько фраз типа "евреи очень любят выпить за спиной у арабских народов..." оставили.

Мне как-то пришлось быть главой президиума в Доме культуры "Красный текстильщик" на вечере, где Саша Соколов читал свою прозу. Посадили меня в центре длинного стола, как генерала на свадьбе. Слева от меня — Саша Соколов, справа — черносотенный священник (уж поверьте мне, я знаю, что говорю). А в зале — представители "Памяти". Я ведь и не сразу понял, что это за публика. И как по разыгрываемому спектаклю, подходит под конец вечера к моему священнику другой, из зала, и говорит: "Давайте встанем и споем "Вечная память", люди требуют". И все встали и начали петь. Знамена появились, хоругви. А зал — в три раза больше, чем в театре на Малой Бронной.

Очень мне не по нутру подобные спектакли, и, будучи человеком неучтивым, я повернулся и бочком-бочком за кулису. Потом вижу, Саша Соколов ускользает в противоположную кулису.

Два чувства я испытал — отвращения к зрелищу, происходящему в зале, и приязнь к Саше.

— В журнале "Театр", где опубликована ваша пьеса, есть также небольшое интервью, в нем приведены следующие слова: "С языком просто — мой антиязык от антижизни". У Вольфганга Казака же можно прочитать, что размышления героя повести "Москва — Петушки" излагаются

"необычным, приподнятым языком с примесью литературных аллюзий". Что вы думаете по этому поводу?

— Что касается "Театра", то ничего подобного я не произносил. Зачем приписывать совсем не свойственные мне фразы? И потом, что они все ищут антиязык, аллегории, аллюзии... Неужели нельзя выражаться по-человечески? Когда мы им напомним, что есть просто хороший русский язык? А самое главное не в том, что стиль их неправилен — неправильна их победоносность!

В одной из недавно опубликованных статей о писателе Венедикте Ерофееве есть такие слова: он "сказал о России точнее, глубже, с большой любовью, поэзией, жалостью, чем кто бы то ни был из пишущих в наши дни". И сегодня судьба его уже известна. Правда, сам он мрачно шутит: "В 1986 году радиостанция "Немецкая волна" в одной из передач сообщила, что "скончался русский писатель Венедикт Ерофеев". Тогда я взял зеркальце и подышал на него. Действительно, ничего. Я подумал и сказал: "Если меня приговорят к повешению и приведут приговор в исполнение, я через час встану и пойду дальше". Как говорил герой "Петушков": "Во всей земле... во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков — нет

ничего такого, что было бы для меня слишком многим".

"Московские новости". 1989. No 50, 10 дек. С. 13

Беседу вел Игорь Болычев

"Умру, но никогда не пойму..."

В 1970 году в количестве двух экземпляров на машинке вышла в свет повесть 30-летнего Венедикта Ерофеева "Москва — Петушки". Прочла ее "вся Москва", а затем и провинция, близкая и далекая. Автора признали и полюбили без всяких подсказок литературной критики.

А ведь повесть не очень-то льстила. Мрачная картина упадка и самоистребления общества вырисовывалась из блистательного игрового текста, какого давно не видел истосковавшийся по искусству слова читатель.

Сейчас Венедикт Ерофеев обременен славой, хотя жизнь его далека от того, что именуется "процветанием". Он перенес тяжелую операцию, благодарное отечество отвалило ему 26 рублей пенсии по инвалидности. Его пьеса "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" идет в театре, эссе "Розанов глазами эксцентрика" опубликовано в альманахе "Зеркала", а повесть "Москва — Петушки" напечатана уже дважды — в журнале "Трезвость и культура" и в альманахе "Весть". Писатель любим литературными друзьями, его

одолевают интервьюеры из-за границы, представители отечественной прессы, почитатели, посетители...

Но давайте от "счастливого конца" вернемся к началу. Если кого-то шокирует необычность суждений автора "Москвы — Петушков", тот волен искать в литературе и в жизни другие ориентиры.

— Венедикт Васильевич, правда ли, что в школе вы всегда были отличником и, приехав из "глубинки", сразу поступили в МГУ имени Ломоносова?

— Имени Ломоносова... Это я взял и приехал, мне было страшно немножко, потому что я действительно впервые за свою жизнь пересекал Полярный круг. Тем, кто пересекал его с юга на север, и то страшновато, а тому, кто с севера на юг — куда страшнее... Я увидел первую березку и обалдел, я увидел...

— В семнадцать лет?

— Мне еще не было семнадцати. Я увидел первую корову и подивился: ба, еще на свете есть коровы. Я, однако, доехал до Москвы... Экзаменов тогда не требовалось, только собеседование. Прошел получасовое собеседование с профессором Шанским, и он сказал добро. Я тут же подал

телеграмму в Кировск, на Кольский полуостров: "Поступил. Ерофеев. Всё". А первое, что я услышал, когда вошел в этот храм науки имени Ломоносова, было: делай раз, делай два, напра… нале… и так далее. Я тут недавно рассказывал Центральному телевидению одну историю, но они едва ли пропустят. Это уж точно. Майор, который вел наши военные занятия, сказал однажды: "Ерофеев! Почему вы так стоите? Неужели нельзя стоять стройно, парам-пам-пам! Главное в человеке, и он прохаживается перед строем наших филфаковцев, — главное в человеке выправка!" Ну, я ему и сказал, это, мол, вовсе не ваша фраза, это точная цитата из Геринга, конец которого, между прочим, известен…

— А что, интересно, ответил товарищ майор?

— Товарищ майор ничего не ответил, но дал мне глазом понять, что мне недолго быть в МГУ имени Ломоносова. Но ничего не возразил — что на это возразишь!

— И майор как в воду глядел…

— Да, после третьего семестра меня, ну и так далее.

— И чем вы занимались, так сказать, до 1985 года?

— Чем занимался? Да чем только не занимался.

Работал каменщиком, штукатуром, подсобником на строительстве Черемушек, в геологоразведочной партии на Украине, библиотекарем в Брянске, заведующим цементным складом в Дзержинске Горьковской области… Кем угодно.

— И все это время вас не печатали?

— Как то есть не печатали, когда практически во всех государствах… Сначала был на меня наплыв стран НАТО, примерно с 76-го по 81-й, потом они отхлынули. Потом пошли страны Варшавского Договора.

— У нас вас тоже читали, и очень немало…

— Дело даже не в этом. Были читатели очень дурного разбора. Им было наплевать на суть, главное, был оттенок запрещенности. Такие никогда не будут смотреть Рафаэля, а вот надписи в туалете Курского вокзала будут очень и очень изучать.

— Но были и другие?

— Еще бы, я для них это и делал. Я, когда писал, знал заведомо, кого имею в виду.

— Извините за некорректный вопрос: на что вы жили? И где брали время, чтобы писать?

— Ну я же постоянно работал. А когда я писал, лежа на второй полке строительного вагончика, ко мне подходили и говорили: а ты чего там кро-

паешь? Ты чего, в институт хочешь поступать? Все равно не поступишь — туда только по блату поступают, так что нечего кропать, давай пойдем пить водяру. Таким образом снимается всякая проблематика. Или вот еще очень неплохой штрих к…

— К вашей биографии?

— Да не обо мне речь. Я имею в виду русский народ. Вернее, советизированный… Так вот вам случай. Упал кабель в траншею с ледяной водой. И ведь кому-то нужно лезть его вытаскивать. И самое странное — никто не решается. Я гляжу на своих коллег — никто. И я — не потому, что опять же отважный человек, а потому, что мне было противно на них глядеть, — я полез. А в это время проходит мимо мамаша с ребенком, показывает ему на меня, у которого в жизни не было ни одной четверки, и говорит: вот, если будешь плохо учиться, то придется потом, как этому дяде, по траншеям лазить.

— А правда, что вы однажды чуть-чуть не побывали в Сорбонне?

— Меня пригласили из Парижского университета на филологический факультет, и одновременно с этим было приглашение от главного хирурга-онколога Сорбонны, сейчас не помню

фамилий, тем более что мне не отдали назад этих приглашений. И приглашения эти были отпечатаны так красиво и на такой парижской бумаге и все такое… И вот тут стали заниматься почему-то моей трудовой книжкой. Ну зачем им моя трудовая книжка, когда нужно отпустить человека по делу? А тем более когда зовет главный хирург Сорбонны — он ведь зовет вовсе не в шутку, кажется, можно было понять. И они копались, копались — май, июнь, июль, август 1986 года — и наконец объявили, что в 63-м году у меня был четырехмесячный перерыв в работе, поэтому выпустить во Францию не имеют никакой возможности. Я обалдел. Шла бы речь о какой-нибудь туристической поездке — но ссылаться на перерыв в работе двадцатитрехлетней давности, когда человек нуждается в онкологической помощи, — вот тут уже… Умру, но никогда не пойму…

— Венедикт Васильевич, а вы знаете, "кто виноват"?

— Понятия не имею. Ты бы еще спросил, "что делать?". И вообще пора кончать с этой фразеологией. Нужно избрать для первого случая хотя бы немножко другую, а там, глядишь, и остальное получится.

— Кстати, о фразеологии. Вот термин "советская

интеллигенция".

— Господи, а это что такое?

— Как вы относитесь к тому, что советская интеллигенция должна унаследовать лучшие традиции интеллигенции русской?

— Понимаю, понимаю, о чем речь. Но это чистейшая болтовня. Чего им наследовать? Советская интеллигенция истребила русскую интеллигенцию, и она еще претендует на какое-то наследство...

— А как вы оцениваете современное состояние культуры — как кризисное?

— Никакого кризиса нет, и даже полное отсутствие всякого кризиса. Добро бы был хотя бы элементарный кризис, а то вообще — ни культуры, ни кризиса, решительно ничего.

— Но что-то интересное в современной литературе все же появляется?

— Появляться появляется. По-моему, самое перспективное сейчас направление — это вот те поэты, что плетутся в хвосте у обэриутов.

— А в прозе?

— В прозе мне нравятся наши культуртрегеры типа Михаила Гаспарова, Сергея Аверинцева. А среди прозаиков не нахожу никого. Я, по-моему, их хорошо всех ощупал и ничего пока не нашел.

Меня дважды спросили, каким критерием мерить?! И я сказал: очень простым критерием — сколько я б ему налил, это абсолютно точный критерий. Кому — ни граммули, кому — и то погодя — грамм сто. Василю Быкову — полный стакан, даже с мениском, Алесю Адамовичу — даже сверх мениска, ну и так далее. А вообще-то о прозе нечего и говорить.

— Вы считаете, это безвозвратно?

— По-моему, безвозвратно. Все, что делается в России — все безвозвратно. Даже могил ничьих не найти. Нам ли еще шутить по поводу безвозвратности.

— А что у вас из написанного еще не напечатано сегодня? Что мы, надеюсь, скоро прочтем?

— Ну не знаю, потому что "Заметки психопата" вряд ли решаться печатать. Там очень много не то чтобы непристойностей, но неожиданных лексических оборотов. К непристойностям они уже привыкли, я наблюдаю за телевидением, уже с голыми задами ходят, но вот с лексическим проворством они никогда не примирятся. Потом еще "Благая весть", роман "Дмитрий Шостакович", потерянный в моих скитаниях по Отечеству, потом статьи о норвежцах — о Кнуте Гамсуне, Бьёрнсоне, о позднем Ибсене…

— А стихи вы писали когда-нибудь?

— Писал. То — под Маяковского, то — под Игоря Северянина, когда мне было лет шестнадцать-семнадцать. И у меня то получалось, то не получалось. И потом я решил, что хватит дурака валять. Вообще в молодости я влюблялся во всех поочередно. Сначала в Бальмонте, потом спустя два месяца, Белого, ну и так далее.

— А осталась какая-нибудь любовь из этих юношеских влюбленностей?

— Все остались, в том-то и дело. Всем признателен. А то ведь люди обычно лихо расправляются с теми, кому они обязаны. Люди, подхватившие самое необходимое, скажем, у Анны Андревны или у Марины Иванны, уже смотрят на них как бы свысока, а то и просто плюют. Вот это мне непонятно. Я, например, совершенно люблю каждого человека, который хоть немножко обязан. Будь то Бальмонт, будь то Северянин.

— Как вы познакомились с русским Серебряным веком на Кольском полуострове? Или тогда были еще книжки?

— Ну как были книжки? Были, конечно, типа "Как закалялась сталь" моего любимого Николая Островского.

— А где же вы познакомились с чередой ваших

возлюбленных, начиная с Бальмонта?

— Ну, это уже, разумеется, когда поступил на первый курс в МГУ. Хоть и ничего еще не было издано, но среди студентов — основное студенчество было настолько плохо, что противно и вспоминать — но опять же, как всегда, как и в Царскосельском лицее, непременно найдется кто-то, кто кое-чего кое в чем смыслит. Так вот мне повезло, я на них напал.

— А если говорить об учителях литературных?

— Конечно, Салтыков-Щедрин, Стерн, Гоголь, ранний Достоевский, ну и так далее, я мог бы слишком многих перечислить. Но в конце концов даже Северянин и то учитель, даже Афанасий Фет — и то учитель.

А теперь давайте, задавайте ваш последний вопрос. Я очень люблю последние вопросы, как не люблю первых и вторых.

— Хорошо. Вот вы сегодня всем стали нужны. Вчера у вас было ЦТ, сейчас я, там, в соседней комнате, ждет девушка из "Экрана". Эти "цветы запоздалые"... Как они вам?

— Ну, какой вопрос, очень поэтический и ненужный. Не "цветы запоздалые", вовсе нет. Наоборот, меня бесит не их запоздалость, а эта вот их запоздалая расторопность. Вот что бесит

меня больше всего.

"Авто". 1991. No 18, 7-13 мая. С. 12

Беседу вел Игорь Болычев

"Умру, но никогда не пойму этих скотов"

...Предлагаем вашему вниманию одно из последних интервью Венедикта Ерофеева, лишь частично опубликованное в "Московских новостях" незадолго до смерти автора. Пришло время напечатать его полностью, без всяких изъятий, не смущаясь резкостью отдельных суждений и характеристик великого русского писателя.

— Венедикт Васильевич, чем вы занимались, так сказать, до 1985 года?

— Чем занимался? Да чем только не занимался. Работал каменщиком, штукатуром, подсобником на строительстве Черемушек, в геологоразведочной партии на Украине, библиотекарем в Брянске, заведующим цементным складом в Дзержинске Горьковской области... Кем угодно. Людям и во сне не приснится.

— В 69-м году вы написали "Москву — Петушки"...

— Я-то ее закончил в январе 70-го, но уже не имеет значения, какая там разница...

— И все это время вас хоть и не печатали, но

зато читали…

— Как то есть не печатали, когда практически во всех государствах… Сначала был на меня наплыв стран НАТО, примерно с 76-го по 81-й, потом они отхлынули. Потом пошли страны Варшавского Договора.

— Ну а в России, давайте о России…

— Опять о России, вечно о ней, о бедной…

— У нас тоже читали, и очень немало людей. Я помню, в 80-м году читал ваши "Петушки" в общежитии МФТИ — заведения, весьма далекого от литературы. А вы все эти годы чувствовали своего читателя?

— Да нет, дело даже не в этом. Были читатели очень дурного разбора. Им было наплевать на суть, главное, был оттенок запрещенности. Такие никогда не будут смотреть Рафаэля, а вот надписи в туалете Курского вокзала будут смотреть очень и очень.

— Извините за некорректный вопрос: на что вы жили? И где брали время, чтобы писать?

— Ну я же постоянно работал. А когда я писал, лежа на второй полке строительного вагончика, ко мне подходили и говорили: а ты чего там кропаешь? Ты чего, в институт хочешь поступать? Все равно не поступишь — туда только по

блату поступают, так что нечего кропать, давай пойдем пить водяру. Таким образом снимается всякая проблематика. То есть великолепный рабочий класс у нас. Или вот еще очень неплохой штрих к…

— К вашей биографии?

— Нет, на мою биографию наплевать в конечном счете. Я имею в виду русский народ. Так вот, стоит кабелеукладчик, но у него каким-то постыдным образом эта вот основная чудовищная металлическая стрела падает, и все тут. И почему она падает, никому не понятно, но все-таки падает. И ведь кому-то надо подползти под нее и подключить там кабель. И самое странное — никто не решается. Я гляжу на всех своих коллег — никто. А вдруг эта штука возьмет да рухнет действительно. Она то и дело и впрямь рухает. вам случай. И не потому, что отважный человек, а потому, что мне было противно на них глядеть, — я встал, подвесил куда надо этот кабель, и как только из-под этой стрелы колоссальной железной выполз, она тут же и упала.

А был такой случай. Вывалился кабель в траншею с ледяной водой, и я полез в эту траншею. А в это время проходит мимо мамаша с ребенком, показывает ему на меня, у которого в жизни не

было ни одной четверки, и говорит: вот, если будешь плохо учиться, то придется потом, как этому дяде, по траншеям лазить.

— Венедикт Васильевич, а что за история с Сорбонной?

— Меня пригласили из Парижского университета на филологический факультет, и одновременно с этим было приглашение от главного хирурга-онколога Сорбонны, сейчас не помню фамилий, тем более что мне не отдали назад этих приглашений. И приглашения эти были отпечатаны так красиво и на такой парижской бумаге и все такое… И вот тут стали заниматься почему-то моей трудовой книжкой. Ну зачем им моя трудовая книжка, когда нужно отпустить человека по делу? А тем более когда зовет главный хирург Сорбонны — он ведь зовет вовсе не в шутку, кажется, можно было понять. И они копались, копались — май, июнь, июль, август 1986 года — и наконец объявили, что в 63-м году у меня был четырехмесячный перерыв в работе, поэтому выпустить во Францию не имеют никакой возможности. Я обалдел. Шла бы речь о какой-нибудь туристической поездке — но ссылаться на перерыв в работе двадцатитрехлетней давности, когда человек нуждается в онкологической помощи, — вот тут

уже… Умру, но никогда не пойму этих скотов.

— Не возражаете, если мы поговорим о русской интеллигенции?

— Господи, а это что такое?

— Считаете ли вы себя интеллигентом?

— (Смех). Нет, ну надо же… Я, конечно, буду отвечать на этот самый паскудный из всех вопросов, который тут… И потом я не вижу никакой интеллигенции.

— А как вы относитесь к тому, что советская интеллигенция должна унаследовать лучшие традиции интеллигенции русской?

— Это чистейшая болтовня. Чего им наследовать? Советская интеллигенция истребила русскую интеллигенцию, и она еще претендует на какое-то наследство…

— А существует ли советская литература? Вы советский писатель?

— Любой рассмеется в ответ на такой вопрос. Но я даже смеяться не буду, потому что мне врачи смеяться запретили.

— Можно ли говорить о кризисе русской культуры?

— Никакого кризиса нет, и даже полное отсутствие всякого кризиса. То есть вообще ничего нет. Добро бы был хотя бы ну элементарный кризис,

а то вообще ни культуры, ни кризиса, ничего, решительно ничего.

— Появляется ли сейчас что-нибудь интересное в современной литературе?

— Появляться появляется. Но, по-моему, самое перспективное сейчас направление — это вот те, что плетутся взаду у обериутов.

— Вы считаете это направление самым перспективным?

— Да, а остальные… Ну неужели Чингиз Айтматов перспективен, ведь смешно говорить об этом. И при всем моем почтении к Алесю Адамовичу, Василю Быкову, все равно считал самым перспективным направлением, которое идет вслед за обериутами. Поэты вроде Коркия, Иртеньева, Друка, Пригова. Они просто иногда кажутся очень шалыми ребятами, но они совсем не шалые ребята, они себе на уме в самом лучшем смысле этого слова.

— А в прозе?

— А в прозе никого не нахожу. В прозе мне нравятся наши культуртрегеры типа Михаила Гаспарова, Сергея Аверинцева. А среди прозаиков я не нахожу никого. Я, по-моему, их хорошо ощупал всех и ничего пока не нашел.

— Венедикт Васильевич, а что у вас из написан-

ного еще не напечатано сегодня?

— Ну не знаю, потому что "Заметки психопата" вряд ли решаться печатать. Они вряд ли на это пойдут, потому что там столько, — я говорю не о непристойностях, — но неожиданных лексических оборотах, мягко говоря. К непристойностям уже привыкли, я наблюдаю за телевидением, уже с голыми задами ходят, но вот с лексическим проворством они никогда не примирятся.

— Вы еще упоминали "Дмитрия Шостаковича"...

— А это уже пропало навеки... Потом "Благая весть", надо ее восстановить. Потом статьи о норвежцах — о Кнуте Гамсуне, Бьёрнсоне, о позднем Ибсене, все ведь это надо как-то найти...

— А писали когда-нибудь стихи?

— Писал. То — под Маяковского, то — под Игоря Северянина, когда мне было лет шестнадцать-семнадцать. И у меня то получалось, то не получалось. И потом я решил, что хватит дурака валять.

— И стали "говорить шекспировскими ямбами"...

— Ну примерно то.

— А ваши поэтические пристрастия? Вы говорили, что ближе всего вам русский Серебряный

век, начало века?

— Ну начало, конечно, ближе, чем середина.

— А в этом Серебряном веке кто?

— В молодости я влюблялся во всех поочередно. Сначала втюрился в Константина Бальмонте, потом, спустя два месяца, — в Игоря Северянина, спустя три месяца — в Андрея Белого, ну и так далее. Я был влюбчивый. Как говорила мать Олега Кошевого: он просто влюбчивый. Обо мне то же самое можно сказать.

— А осталась какая-нибудь любовь из этих юношеских влюбленностей?

— Все остались, в том-то и дело. Всем признателен. А то ведь люди обычно лихо расправляются с теми, кому они обязаны. Люди, подхватившие самое необходимое, скажем, у Анны Андревны или у Марины Иванны, уже смотрят на них как бы свысока, плюют просто. Вот это мне непонятно. Я, например, совершенно люблю каждого человека, который хоть немножко обязан. Будь то Бальмонт, будь то Северянин, — я знаю, что они немножко придурки, но все равно люблю.

— Как вы познакомились с русским Серебряным веком на Кольском полуострове? По книжкам?

— Ну как, были книжки? Были, конечно, типа

"Как закалялась сталь" моего любимого Николая Островского. Потом еще какая-нибудь гадость. Именно на этом мы ми растились, то есть на такой вот приподнятой паскудщине… Я бы сказал, но не люблю матершину несвоевременную.

— А где же вы познакомились с чередой ваших возлюбленных?

— Это, разумеется, когда поступил на первый курс в МГУ. Хоть и ничего еще не было издано, но среди студентов — основное студенчество было настолько плохо, что противно и вспоминать — но опять же, как всегда, как и в Царскосельском лицее, непременно найдется семь на восемь людей, которые кое-чего кое в чем смыслят. Так вот мне повезло, я на них напал.

— А кого вы числите своими учителями?

— Конечно, Салтыков-Щедрин, Стерн, Гоголь, ранний Достоевский, ну и так далее, я мог бы слишком многих перечислить. Но в конце концов даже Северянин и то учитель, даже Афанасий Фет — и то учитель.

— А в жизни встречался вам человек, которого вы считали своим учителем?

— Да, встретился. Мой однокашник Владимир Муравьев (в настоящее время переводчик, историк английской литературы, критик. — И.Б.).

В университете мне сказали: "Ерофеев, ты тут пишешь какие-то стишки, а вот у нас на первом курсе филфака человек есть, который тоже пишет стишки". Я говорю: "О, вот это уже интересно, ну-ка покажьте его мне, приведите мне этого человека". И его, собаку, привели, и он оказался, действительно настолько сверхэрудированным, что у меня вначале закружился мой тогда еще юный башечник. Потом я справился с головокружением и стал его слушать. И было чего слушать. И если говорить об учителе нелитературном, то — Владимир Муравьев. Наставничество это длилось всего полтора года, но все равно оно было более или менее неизгладимым. С этого все, как говорится, началось.

— Венедикт Васильевич, а есть ли у вас ученики? Вы рассказывали, что ребята, которые как вы выразились, "плетутся взаду у обериутов", подарили вам стихотворный сборник с надписью "Все мы вышли из "Петушков"...

— Опять же без всякой гордыни я считаю, что это наилучшее направление в русской поэзии. А о прозе что и говорить, она погибла.

— Вы считаете, это безвозвратно?

— По-моему, безвозвратно. Все, что делается в России — все безвозвратно. Даже могил ничьих

не найти. Нам ли еще шутить по поводу безвозвратности.

— А если говорить о прозе не только "молодых"?

— Мы однажды говорили о прозе и меня спросили, каким критерием мерить? И я сказал: очень простым критерием — сколько я б ему налил, это абсолютно точный критерий. Астафьеву ни грамма, Белову — ни граммули, Распутину — и то погодя, ну туда-сюда, грамм сто, Василю Быкову — полный стакан, даже с мениском, Алесю Адамовичу — даже сверх мениска, ну и так далее.

— Венедикт Васильевич, в Театре на Малой Бронной прошла премьера вашей "Вальпургиевой ночи". Понравилось вам, как ее поставили?

— Чудовищно не понравилось. Я даже заранее главной администраторше театра заказал себе место крайнее справа, чтобы уйти.

— Но все же досмотрели?

— Досмотрел.

— Значит, не настолько чудовищно, можно было досмотреть?

— Я, знаете ли, еще и педантичен. Но нельзя же урезать, так урезать-то… Всю израильскую тему… Диалоги…

— И реплики санитарки Тамарочки?

— То, что это было убрано, это чепуха, хотя это, в сущности, не чепуха. Когда я был в Четвертом отделении, мне приходилось несколько недель подряд слушать вот эту фразеологию. И никому не советую ее слушать. И когда я сказал: "Женщина, вы все-таки женщина, вы неужели не можете без этого?" А она сказала: "А ты кто такой..." Ну, все понятно. А дальше она говорила примерно две минуты то, что она говорила...

— В пьесе?

— Нет, ну в какой же пьесе, добро бы в пьесе, а то именно в Четвертом отделении больницы Кащенко. В пьесе это бы еще хорошо.

— Венедикт Васильевич, позвольте вопрос дурацкий. Вы знаете, "кто виноват"?

— Понятия не имею, еще бы задал вопрос "что делать?". Пошел ты с этими вопросами. Я не люблю таких вопросов. И вообще пора кончать с этой фразеологией. Нужно избрать для первого случая хотя бы немножко другую, а там, глядишь, и остальное получится.

— А что вы скажете о перестройке?

— Мне незачем перестраиваться. Остаюсь статус-кво, и навеки останусь.

— А вообще?

— А вообще-то недурно. А теперь давайте, за-

давайте ваш последний вопрос. Я очень люблю последние вопросы, как не люблю первых и вторых.

— Хорошо. Вот вы сегодня всем стали нужны. Вчера у вас было ЦТ, сейчас я, там, в соседней комнате, ждет девушка из "Экрана". Эти "цветы запоздалые"... Как они вам?

— Ну, какой вопрос, очень поэтический и ненужный. Не "цветы запоздалые", вовсе нет. Наоборот, меня бесит не их запоздалость, а эта вот их запоздалая расторопность. Вот что бесит меня больше всего.

— Спасибо.